

Мария Ануфриева

КЛАССИК

рассказ

http://www.voloshin-fest.ru/publ/voloshinskij_konkurs_2013/lt_gt39/klassik/39-1-0-1390

Он всегда мрачен, задумчив и сонлив. С ним хорошо молчать, можно прикрыть глаза, откинуться на спинку дивана и лишь изредка говорить: «да-а», «нда», «ну да» и «в новой вещи надо правильно найти тон».

Вещь – это роман или повесть. Вещица – рассказ.

- Как твоя новая вещь? – спрашиваю я.

- Ковыляет. Не понятно, что делать с последней главой. Она еще не написана. Я вот думаю: сразу в истерику впасть или чуть позже, в середине?

- С истерикой погоди, - советую я. – Читатель еще успеет насладиться твоей истерикой. Ты его сразу не пугай, читателя нынче беречь надо. Истери ближе к концу, когда книга будет почти прочитана.

- И то верно, - понуро соглашается он и морщится как от зубной боли. – А то потом напишут, сучары, что вот, мол, опять наш непонятый гений. Обидеть художника каждый может. Да еще баба какая-нибудь привяжется...

Бабу лучше не трогать, даже не вспоминать. Начало этой рецензии я помню наизусть и, если хочу позлить его, начинаю медленно, низким голосом рассказывающего городскую страшилку пионера говорить: «Как в помойную яму...». После этого следует восторженно подпрыгивать, визжать и убегать.

- А ты пишешь? - спрашивает он и утомленно прикрывает глаза.

- Пишу, да вот только все буксую. Понимаешь, как машина зимой. Вроде и ямка маленькая, не ямища, но в ней наледь. И я туда-сюда, двадцать восьмая страница - двадцать девятая, поддать газу, нет опять двадцать восьмая. Туда-сюда переваливаюсь.

- Понимаю, надо правильно найти тон, - говорит он, и серый хобот его истлевшей сигареты сонно достает до дна пепельницы.

В книгах он другой. Резкий, порывистый, определенный. Выныривая из текста, он словно включает режим сбережения энергии и тускло горит, чтобы вновь заискриться, когда придет его час.

Мне доводилось видеть его за работой. Пишет все сторбленное перед монитором тело. Пишет лицо шевелением губ, гармонью складок на лбу и главное – пишет голова. Бритая наголо голова пишет так, словно ворочает гигантские неподъемные глыбы. Словно покрыта она мышцами, бицепсами и трицепсами, которые перекачиваются под кожей.

- Позволь, я разденусь. Жарко! – говорит он и без предупреждения скидывает засаленный синий махровый халат, одетый, как оказывается, на голое тело. – Разденься и ты! Мне надо, непременно надо, чтобы ты лежала голая вот тут, рядом, на диване, пока я буду писать.

- А голову на колени тебе не положить? – вспоминаю я Льва Николаевича Толстого. Есть байка, что лучше ему творилось, когда Софья Андреевна клала черную головку на колени мужа. – Могу и тринадцать детей родить. Ты как?

- Это лишнее. Два абзаца. Решающих. Умоляю!

Чертыхаюсь и стягиваю через голову платье.

- Чулки снимать не буду, и не проси. Так сойдет.

- Сойдет, - живо соглашается он и проводит рукой по моему животу. – Ложись.

Рядом с письменным столом в узком кабинете с книжными полками до потолка стоит топчан, где он спит, отваливаясь от компьютера, как насосавшийся крови комар или, наоборот, отдавший свою кровь боец литературного фронта. Только война давно закончилась, войска ушли, и победители давно сдались на милость побежденным. А он все продолжает держать оборону высокого слова, как партизан в глухих лесах, как будто не зная, что героизм его вряд ли будет оценен.

Я лежу на спине, закинув ногу на ногу, и листаю его книгу, выпущенную под лейблом «литература категории А» с дохлой мухой на обложке. Она лежит на спине, как и я, черными лапками кверху. И, кажется, косит на него потертым глянцевым глазом.

Пока он ворочает глыбы слов в своей голове, я изучаю трещинки на потолке и думаю, что, если мерить дарования категориями, наверное, моей будет категория Г. Но часто людям нужна именно эта категория. Не все могут подняться до категории А, как компьютерные программы устаревшей версии не могут открыть новые, самые современные. Только с людьми наоборот.

Человек последней версии не понимает того, что было до него, хоть Стоунхендж передвинь голыми руками. А потому морщ лоб, не морщ – дальше узкого круга ценителей дохлых мух и истеричных филологических критикесс не прыгнешь. И это хорошо, ибо сохраняет высокий штиль в литературе. А ну как все начнут писать и читать книги категории А? Через каких-нибудь пару лет она превратится в полное Г. Сразу утратит свою ценность, размоется, нивелируется, и избранность исчезнет.

- Как успехи? – вежливо интересуюсь я. – Написал?

- Ништяк! Еще немного! Лежи, лежи...

- Гонорар вместе пропьем, жду благодарности на титульном листе. Слушай, а может, ты ее мне посвятишь, а? Готова быть твоей Анной Керн. Я тебе тоже что-нибудь посвящу. Когда-нибудь потом.

- Не мешай! Видишь, я думаю! Умоляю!

Протягиваю руку и беру с полки следующую книгу. Лоренс Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Из нее вываливается прозрачный квадратный пакетик с серой трухой. Семена, должно быть, для дачи. Хотя у него нет дачи.

- Выкину, пока не рассыпались, - бормочу я и иду к дверям.

- Покажи-ка, - писатель в один прыжок оказывается рядом. Голый, гладкокожий и – надо же - умеющий прыгать как кенгуру.

В следующую минуту он хвалит меня за находчивость и удачу, которую я принесла в его дом. Точным движением руки достала с полки правильную книгу. Какой богатый, однако, автор Лоренс Стерн, да и Тристрам его тоже парень не промах. Одно слово, джентльмен. А сам-то он, дурак, забыл про некоторые запасы.

- Лучше выкини!

- Я тебе выкину. Пусть полежит вот тут, в ящике. Поближе. Эх, подруга дней моих суровых, в Голландии ты не была. Вот допишу книгу и поедем... Хотя на гонорары теперь не разъездишься. На жратву бы хватило. Слушай, а давай я тебя трахну. Ведь и Александр Сергеевич свой гений чистой красоты уеб с Божией, кхе, помощью, как сам он написал. Видела мой новый диван? Полкомнаты! Всю жизнь о таком мечтал, только высококоват. Не всегда это удобно. Хотя с Божией помощью...

- Что же ты при покупке думал? Надо было сразу примериться. Ты этого и правда хочешь?

- Я хочу хотеть! Ты должна понимать... Не смотри на меня в упор, так ничего не получится!

- Ничего себе! Я, между прочим, беспокоюсь о тебе...

- Задушу тебя твоим ожерельем, - тянет ко мне руки писатель.

- «Как в помойную яму...», - торжественно произношу я коронную фразу, возвышая голос на каждом слове. Вот зачем нужны критики!

Он кидает в меня платьем. Я подхватываю его на лету и даю деру на кухню. Два решающих абзаца написаны.

Варю кофе. Писатель приходит через пять минут, одетый и смиренный, сонно дружелюбный, и как голубка склоняет голову мне на плечо. Угрюмый тусклый огонь желания погас.

- Прости, я выдохся... Двадцать минут напряженной работы! Благодаря тебе, я приподнял завесу, продвинулся... Теперь надо полежать, подумать. Ты меня прости. Только потом в мемуарах не пиши, что я странный. Пирог?! Ты принесла мне пирог. Спасает от голодной смерти. Но я не хочу есть, я так устал. Да еще с похмелу как сукин кот. Впрочем, пирог оставь. Позже сгодится.

- Думаешь, ты кому-то нужен будешь в мемуарах? - говорю я тоном «как-в-помойную-яму».

- Это мы посмотрим, - распрямляется он. – Я же, как ни крути, живой классик.

Писатель сидит за столом и смотрит в вечность, которая простирается сразу за его пустым холодильником.

Он мерцает все слабее, говорит все медленнее. Входя в реальную жизнь, привычно впадает в анабиоз.

В этой квартире уже почти век живут одни литераторы. Наверное, оттого тут такой спертый, плотный воздух. В ней хорошо думается, но плохо живется.

- Ты бы чаще проветривал что ли. И не дымил как философский пароход. Нельзя же так жить, хоронить себя заживо, - говорю я в пустоту, в вечность и сажусь рядом.

За десятками крыш искрится на солнце шпиль Петропавловской крепости.

– Ты ел что-нибудь сегодня? Хоть бы каши растворимые набодяжил, которые я в прошлый раз оставляла. Специально для тебя выбирала, чтобы инструкция самая простая была. Залил овсянку кипятком и размешал! Тебе бы женщину хорошую. Она готовить будет, убирать, приглядывать за тобой. А ты, довольный и румяный, будешь лежать на новом диване и закончишь, наконец, свою вещь.

- Да кому я нужен. Прока от меня никакого, расстройство одно.

- Ты непременно кому-то нужен. Мне тоже нужен, но и от меня прока никакого. Мы с тобой два сапога пара. К тому же друзья. Помнишь, как куру варили?

Похоже, мне удалось его развеселить. Опущенные уголки губ дрогнули и попытались подняться вверх, у правой это почти получилось. Писатель стал похож на грустного Иа-Иа, получившего обратно утерянный хвостик. Мимолетная радость обретения не может вернуть веру в счастье и справедливость, если ее и не было.

- Кура... Как ее, тварюгу, не помнить. Залила водой всю плиту и выскользнула, гнида голая, на пол.

- Да главное по книге же готовили. И кто только пишет эти кулинарные книги, - поддерживаю я.

- Кулинарные книги не для нас, писателей, - соглашается он. – Идиоты. Как куру варить описать не могут, мелкотравчатые!

- А хорошей женщине кулинарная книга не нужна. Она у нее в голове, все рецепты высечены в мозгу как Скрижали. Вот такую женщину тебе надо!

История про куру – сильный аргумент в пользу семейных ценностей. Еще бы: специально под размер этой бройлерицы купили кастрюлю в ближайшем к дому магазине – Гостином дворе. Кастрюля вышла в атомную цену, но кура в нее влезла. Вода перелилась через край. Ворвавшийся в приоткрытое окно ветер растрепал пламя газовой горелки, которое метнулось в поисках жертвы и подпало занавеску.

Кинулись тушить занавеску, задели кастрюлю, подлая кура тут же выскочила из нее, будто только и ждала подходящего случая. Она мелькнула белесым недоваренным боком,

сделала кульбит в воздухе и приземлилась в углу кухни, который оказался не только самым дальним, но и самым грязным. Как два санитаря подхватили куру, я – под белы мясисты ноги, писатель – под скорбно прижатые к туловищу крылья, и потащили обратно в кастрюлю.

Писатель вздыхает, закуривает очередную сигарету и больше не спорит.

- Да-да, и чтобы куру варила, - вяло кивает он. – И диван уже есть. Ну а ты как?

Когда мы говорим с ним о ерунде все равно получатся о чем-то важном, а потому я даже не пытаюсь ерундить. Остается признаться.

- Я влюбилась как дура.

- Это хорошо!

- Чего ж хорошего? Ключевое тут: дура.

- Ключевое: влюбилась. Значит, ты напишешь хорошую книгу.

- Не хочу я книгу, я его хочу, себе. Знаешь, ради него я бы просыпалась рано утром, кормила завтраком, а потом отвозила на работу, сама, как личный шофер. Ради него я бы даже научилась готовить. Ради него одного. Я бы строгала салаты, запекала рыбу и мясо по-французски, жарила телячьи языки...

Писатель недоверчиво и восхищенно качает головой. Блеск глаз говорит о том, что каши он с утра не разводил.

- И телячьи языки, - мечтательно повторяет он. – А меня ты могла бы отвозить на работу?

- Так у тебя работы нет.

- Черт, точно. Работы нет, зато кастрюля есть. Может, ты пока у меня потренируешься, языки эти?

- Кастрюля-то есть, его нет.

- Так ты втюрилась или хочешь его заполучить?

- Это разное?

- Конечно!

- Ты прав, я втюрилась, но не хочу его заполучить. Я даже мечтать об этом не могу. Мне бы сидеть у него в ногах и любоваться, как он говорит, смотрит, думает.

- Жестоко говорить со мной о нем! Впрочем, ты никогда церемониями не отличалась. Кем он хоть работает?

- Неважно. Это и правда не важно, он мог бы работать слесарем, нотариусом или кондуктором, а работает почти что Хароном.

- Загадки пошли в ход, точно втюрилась. Кого угодно ты можешь убедить в том, что не хочешь заполучить его, но лучше бы ты могла убедить в этом себя.

- С тех пор, как его увидела, словно попала в воронку, и крутит-вертит меня в ней, болтает, до тошноты, до слабости, до беспамятства. За рулем автомобиля представляю, что он в соседнем ряду едет, и стремлюсь соответствовать: веду плавно, как бедрами покачиваю. В транспорте за похожими на него мужиками сажусь. Еду и люблюсь на крепкие кудрявые затылки, представляю, что он впереди меня едет. А потом как повернется горе-дублер, как пахнет от него перегаром, съедет шарф, обнажив багровую шею...

- А ты напиши ему письмецо как Татьяна Ларина. Хочешь, я сочиню? Ради тебя я готов... Так распишу, закачается.

- От смеха. Он ведь не Онегин. Спасибо, не надо.

- Знаешь, а я ведь тоже влюблен уже двадцать пять лет. Ну и что? Ничего. Она тоже не знала об этом. Замужем давно, трое детей. Муж такой, как каменная стена. А я женился, развелся, живу... Десять лет назад я ей позвонил. Накидался, конечно, для куражу. Триста грамм для смелости. Позвонил и сказал, чтобы знала. Шансов у меня никогда не было, но легче стало. Не жди десять лет, особенно если шансов у тебя нет.

- Не нужны мне шансы, - соврала я. – Все складывается так, как должно быть. Это про нее почти в каждой твоей книге, о несбывшейся любви? Хоть пару строк да напишешь, а я думала, выдумка.

- Про нее... Знаешь, кажется, умирать буду, последняя мысль о ней придет.

Мы выходим из дома и идем вдоль канала имени убитого персами поэта. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» - до сих пор спрашивает его молодая вдова с черной гранитной плиты в далекой горной стране.

- Овсянка! – говорю я на прощание и поднимаю ему воротник пальто. Писатель сразу будто проваливается в него.

- Татьяна Ларина! – говорит он в ответ и пропадает в толчее Невского проспекта.